

Дмитрий Верецагин

Первая любовь

Повесть

Дмитрий Верещагин

Первая любовь

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=12197278

ISBN 9785447429119

Аннотация

Автобиографические рассказы Дмитрия Верещагина о своем детстве объединяет горячая любовь к малой родине – деревне, реке Суре, полям и лесам. Живые детские впечатления, описанные неповторимым «деревенским» языком, помогут юным читателям почувствовать особенности жизни их сверстников в послевоенное время в деревне. Книга адресована детям младшего и среднего школьного возраста.

Содержание

Рождество	5
Первая любовь	18
Переплыл	23
Река	28
Петухи	34
Конец ознакомительного фрагмента.	41

Первая любовь

Повесть

Дмитрий Верещагин

© Дмитрий Верещагин, 2015

Создано в интеллектуальной издательской системе
Ridero.ru

Рождество

Я однажды заработал очень редкую вещицу. На Рождество дело было, когда мы... Нет, пожалуй, надо сперва вам сказать, какой это был праздник, Рождество. Тем более что я, кажется, сказал выше, обещал рассказать и про это.

Вот сегодня у нас сочельник. И мы выбрасываем все из избы вон. А именно: мочало, рую, вальки, берда, иголки, бילו – все то, короче, из чего составляется в избе станок и ткут на нем рогожи. Мы, наше село, ткали рогожи. У нас все в селе их ткали, исключая учителей и двоих-троих разве служащих.

И вот, когда мы выбросим добро все это в сени, мама начинала мыть пол. Она так выскоблит его в честь праздничка годового, что, разгиная спину, говорит, бывало: «Ой, как бы половицы не прохудить, робята!» А потом мы наряжаем избу – как невеста, поглядишь, изба стала! Из такой и в баню идти нам не хочется! Но мама нам говорит:

– Кто со мной не пойдет в баню, тому рубаху шить не стану!

И – чего же – надо собираться с ней в баню. А после бани, – я любил этот час особенно, – наша мать падает на кровать сразу. Так она угорала! Потому и охотница была она попариться! «Пока два веника не исхлещу об себя, мне кажется, что я и не была в бане». Но я любил, когда она так ос-

новательно парилась. Любил. Потому что в это время от нее легко можно было смыться домой. Я, признаться, не люблю баню. Для меня она только как обязанность, мероприятие. Не более!

Но как хорошо после баньки в нарядной избе!

– Ох, – охает мать на кровати. И, вытирая пот, выступающий на лице у ней градом, говорит:

– Робята, подайте мне водички и шариков со двора.

Воды ей подаешь напиться, а «шарики со двора» – прошу вас не пугаться – это овечий помет. Пугаться тут нечего, потому что они, эти шарики, принесенные со двора, с мороза, очень хорошее средство от угара. Много лучше, я бы сказал, чем нюхать тертый хрен. Хрен хорошо когда? Когда угодишь не очень сильно. А с шариками (их, кстати, не нюхают, а закладывают ими уши) полежишь буквально минутку одну, не более, как уже все, чувствуешь, что голова проходит. А чтобы уж совсем она стала свежая – вот тут уже можно еще и понюхать хренку.

Потом мы разделяем холодец. Мы: я и брат мой Воля. А мама расчесывает волосы. Сперва, прежде чем начать ей заплетать косу, которая была у ней большая, толстая, встанет, представьте, с табуретки... Нет, с сундука. Она всегда любила на сундуке после бани заплетать косу. До пяток! Как раз до пяток коса была! И прежде чем ее заплести, она всегда говорила:

– Ну, кому облегчить голову? Гребешок у меня Маньки

Маркеловой, мелкий. Все им вычешу!

– Чешишь, мам, чешишь, – говорим мы с Волькой. Но она понимает это по-своему:

– Да ба-атюшки. Да ма-амоньки. Это вы так разделяете? Да что же это вы делаете?

Потом – это где-то под ночь уже – она ставит тесто. И только после того она примется шить нам рубахи. А то и нередко по штанам сошьет. Скажет, что «скроила только рубахи я обжорам», а наутро проснешься, смотришь, а под боком лежат еще и штаны.

А орешки! Рождественские орешки! Ой и вкусно! Это просто языком нельзя выразить. А как подумаешь о том, что еще будет из еды на рождество! Пирог с калиной. Пирог с ревенем. Пирог с творогом, ватрушками называемые. Пышки. Блинцы – драченные пшеничные и просто блины из муки восемьдесят первого сорта. Каша – простая пшеничная и каша с тыквой. Картошка, жаренная на одних вытопках. Мяса чугуны и чугуны шей... Ой, разве все это перечислишь? Никак невозможно этого сделать, потому что рождество у нас праздник престольный. И как на него гуляли? Даже из Нечаевки нас было слышно!

– Пыль у вас, ильменские, столбом стоит, – звонили, бывало, они нам на почту, – особенно слышно, как пляшут на Большой улице. Вот это уж действительно там Христос уродился.

Но это все будет днем, к вечеру ближе. А сейчас я со-

бираюсь славить. Благо стих «Рождество» выучил я хорошо на память. Вот я наелся досыта орешков, испеченных на сале: «Ой, мамка, как вкусно!» – и славлю:

– Рождество твое, Христе боже наш, во сиянии мир свет разума: в нем бо звездам служащим и звездою чахуся и тебе кланится солнце Правды и тебе видится с высоты Востока. Господи, слава тебе.

Мама повторяет:

– Господи, слава тебе...

– Дева дней пресущественного рождает, – тяну я, – и земля вертеп неприступному приносит, – и, чуть заывая, – а-а-ангелы с па-ас-тырьми славословят, – почти не заывая, а просто пою, – волхвы же со звездами, – вот теперь снова заываю, – путе-е-ествуют, – и как там бом бам, – наш бог роди, – там бом бам, – роди, – там бом бам, – роди, – и, набрав в грудь воздуха, – роди-и-ился, – и наконец последний аккорд, – отроча млада превечный бог...

– И?.. – спрашивает мама, проглотив слюну.

– С праздничком вас, люди добрые!

– Ой, сынок. Ну никогда я ни от кого такого не слышала. Это... ой как хорошо! Я вот тебе за это дам... только Вольке не сказывай смотри... двадцать копеек. И еще орешков наложу в карманы.

И она накладывает мне орехов полные карманы.

– Они немного, – говорит, – подгорели, но это ты, ты сам уж виноват: я тебя заслушалась...

Этот полный карман. Давай еще вот в другой... Давай, давай. Будете бегать по улице и кидать их.

– Куда?

– Чай, в рот, куда. И знаешь чего...

Но не успела она договорить «знаешь чего», как в сенную дверь: бух! бух! бух! – кто-то забарабанил. Я бегом в сени открывать.

– Кто там? – спрашиваю.

– Я...

Это Витька! Витька Додонов! Этому я открываю без всяких-яких, конечно. Но обязательно в это время руки прилипнут к железу. Полезешь помочь языком, а еще хуже получается. А тут славить же надо? И вот всегда так: когда не ждешь беду, а она тут как тут, паразитка. Да что уж! Вот как теперь быть? Как славить «Рождество» в таком виде? Если бы не мать, так бы дома и остался плакать. Но она языком проверит, «где болит», и сразу станет лучше. Даже славить, чувствуешь, можно!

– А ну-ка, ну-ка, – мама говорит, – вы прославьте с Витькой вместе мне.

Исполняем.

Мы с Витькой вместе так хорошо исполняем, что даже кот спрыгивает с печи и садится посреди избы слушать. Но вот мы с Витькой запнулись, а он: «Ма-ала...»

Не лезь, – мама на него, – на вот, лопай орехи.

Но хорошо исполнили, очень хорошо. И Витька говорит:
С праздничком тебя, тетя Маша! А я:

– С праздничком вас, люди добрые! (Как мама учила, так я и делаю.) А мама:

– Спасибо, Витя. Спасибо, сынок. Ой как вы хорошо, гоже как пе-ели. Я вас не прерывала, а хотелось посадить на шубу.

(У нас первого славильщика сажают на шубу. Примета есть такая... чтобы клушки водились в дому.)

– Эх, – говорит Витька, – чай, стели. Я еще, тетя Маш, тебе прослаблю...

И вот мама ему стелет шубу. Мама стелет шубу на лавку, а Витька проходит вперед и садится на нее. В новых лапотках! И такой он весь нарядный: в новой фуфаечке, в новых штанах и, может, даже в рубахе он новой: не видно. Он весь запахнут... И вот он еще раз прославил маме на шубе. И она за это дает ему двадцать копеек.

– Прямо скажу, Витька, я только тебе. А всем остальным, кто прибежит если славить, подам конфетками («подушечками» она всем подавала). И пусть уж никто не обессудит меня за это.

Витька, довольный, сияет! Ой хорошо, хорошо нам. Теперь можно бежать и славить. Сейчас мы с ним всю нашу Большую улицу прославим! Или как лучше сказать?.. Ну не важно. Так у нас, именно так говорят...

И вот уже мы толкаем дверь в два плеча и выбегаем на улицу. На мороз скрипучий. Дорожка у нас на проул-

ке узенькая, и когда мы бежим по ней, то нас слышно. И не только нас, всех славильщиков слышно, когда они бегают по дорожкам, в сочельник почищенным. В лапотках! Прямо как мотоциклеты, послушаешь, летают. Так они, лапотки, хорошо визжат на морозе! И все бегом, бегом: на рождество на славенье дается час один только, когда на улице еще темно, когда печи только-только затопляются. Нет, впрочем, и днем славить можно, но только это почти что бесполезно, потому что все деньги, какие отложены для славильщиков, уже, считай, розданы. Днем бегаешь только к родным: там все равно тебе дадут столько, сколько заранее дать решили. Но с первыми петухами можно наславить больше, чем со вторыми; и вот почему Вольки, когда я проснулся, не было дома: он уже славил; он встал раньше мамы и, попив водички в чулане – ничего же больше не было, – убежал. И я вам должен сказать еще вот что.

Чтобы денег наславить много, надо подняться рано, и еще и сообразить нужно головой. Именно, что этим я хочу сказать? Тут, в ранний час, ты все одно не первый; не один ты умный такой; а и все ведь не дураки; а поэтому надо стараться всех обойти по возможности; и надо суметь замечать следы, потому что по ним сразу видно, что кто-то уже тут славил.

Объясню детально, еще более, конкретно, зачем это все нужно делать.

Первому славильщику дают больше. Мне, например,

Илюшка на это счет говорил так: «Вот, голова садовая, видишь, – показывает, бывало, кулак, – скока денег поместится – все твои! Но если прославишь мне первому». И, подмигнув, еще скажет, добавит он: «И стаканчик поднесу».

– Ну-ка с мороза дерни! Маньк, да дай-ка ты закусить человеку скорее! Да ну, как не будешь? Ты ведь, я слышал, голова садовая, Любку ходил сватать? Не ходил? Эх, смотри! Проворонишь девку!

Он, между прочим, замечательный плясун. Как выйдет плясать он в избе, как пойдет он... Но это будет днем! А сейчас мы – Витька и я – только выбежали от нас славить.

Первый раз! Впервые бегу я славить! Радости сколько!

Но я сказал не случайно, что надо кумекать головой, когда ты желаешь быть первым. А это нелегко! Когда бежишь славить впервые.

Хотя, в прочем-то, как раз именно тебе очень может сперва повезти.

Вот как было в тот раз...

Мы выбежали от нас, и Витька закричал:

– Ура-а!

Я бросился бежать что есть духу, так что даже обогнал Витьку. Я так бежал, несясь по улице, что потерял аж куда-то варежки. А потерять варежки на рождество... да их, впрочем, и в любое время жалко.

Я говорю ему:

– Вить, я потерял варежки. Давай их искать. Но он молчит.

Тогда я подошел к нему и, обхватив его, говорю:

– Ну, слабо меня побороть!

– Гу-у-у...у! – загудело.

Это оказался столб. А столбы в морозные темные ночи, знаете, как гудят! И даже еще они и толкаются. Вот попробуйте как-нибудь – обхватите столб телеграфный ночью в мороз, и вы убедитесь в этом сами.

И – уже я гляжу – лежу в сугробе. Он, столб телеграфный, так меня оттолкнул от себя, что я от него отлетел, как нокаутированный. И как после этого я попал в чей-то дом – не могу вам сказать этого. Но, гляжу, изба чья-то чужая. Темно. Едва-едва горит лампадка над киотом. И так холодно в ней, в избе, что впору в ней, как говорится, волков морозить.

В избе стоит кто-то. И я стал славить. А это кто-то платки снимает, гляжу, с головы. И тут, наконец, разглядел: да это же тетя Матька! Плакальщица наша! Которая, надо сказать, так плакала, выла над покойниками, бывало, что даже меня она до слез понимала. А мать наша – эта так плакала, что, придя домой с поминок, сама с себя удивляется:

– Ну вот не знаю, в чем дело? Ну же это хоронили нынча мы Федору глупую? А кому она нужна? А как Матька запела: «Ой, Федорушка, как ты ле-ежишь бе-э, бе-э, бе-эла. Кака ты ста, ста, ста-ала. У-у-у-мна». И вот чего ты будешь делать! Слезы сами нашли себе дорогу.

А Волька, я забыл сказать, в сочельник мне сказал, когда я у него спрашивал: «Воль, к кому мне завтра побежать сла-

вить сперва?» – «К кому хошь! На Большой улице у нас все подают неплохо. Но только, конечно, не к тете Матьке. Она сама исполняет лучше всех и подает плохо тем, кто молодой еще, как ты, и знает плоховато стих».

И не знаю, эти ли слова его или столб виноват телеграфный, толкнувший меня так, что я забежал в глухой дом, как, знаете, без памяти, – не знаю, не скажу вам, в чем дело, но только, друзья мои, я так запел у нее в избе, что гляжу...

Глаза. Как солнышко блестят в темной избе! И чем дальше я пою, славлю тем они ярче и ярче разгораются.

Я ей пропел только один тропарь. Но когда я, закончив, сказал: «С праздничком вас, люди добрые!» – она говорит мне:

– Ангел, – говорит, – ей, как ты мне душу освятил, ангел ты мой! Господь ангела, ангела послал мне...

Она даже щупала меня. Вероятно, чтобы убедиться, не ангел ли я, прилетевший с неба? Потом пошла к сундуку. Открыла его и, гляжу, нырнула в него. А сундук у ней был большой. Полпечки занимал. Это в длину, а в высоту – метр. Метр, не дам соврать я, метр.

И вот чего бы вы думали она мне вынула из сундука? Иконку маленькую-маленькую. С коробочек. А на ней, как мы потом разглядели дома, царь. Великий русский царь.

Вот какую вещицу я заработал на рождество, хотя и впервые выбежал славить!

Но далее так успешно, однако, дело у меня не пошло.

Больше вам скажу: я замерз на Большой улице. А получилось это, вероятно, потому, что я, во-первых, не придал иконке особого значения, наоборот, я подумал, что она мне ее дала по бедности своей, тогда как мне хотелось очень денег.

«Это, значит, я у нее не первый славил!» – выбегая от нее, думаю. И стал соображать теперь, куда мне побежать, чтобы непременно быть первому.

И всюду, везде неудачно! К чьему двору я ни подбегу – везде уже или следы натоптаны, или выходит со двора гурьба целая мелюзги большеульской.

Всю улицу я избегал! И так ее и эдак. По одному и второму порядкам. Но, к своему глубокому огорчению, так и не нашел двора такого.

«Господи, – глядел я в небо, – где же справедливость? Ведь я столько времени учил „Рождество“ и столько ждал этого дня! А, господи?»

И слезы потекли у меня по щекам.

Беда, однако, случилась серьезная. Я потерял варежки. Не те, что выронил из кармана на своем проулке (их, кстати, нашли днем). А уже другие! Которые мне дала тетя Матька. Потому что я ей сказал про Витьку, как он меня бросил. И как через него я потерял свои варежки. И она дала мне свои – с тем лишь условием, чтобы днем я прибежал и занес их.

Правда, я одну только варежку потерял. А вторая, гляжу, на руке. Цела!

Но что значит потерять чужую варежку? Я так испугался, такой на меня страх, друзья, навалился, что... Вдруг, чувствую, ноги дрожат. И не бегут почему-то. Тут надо летать, а не бегать, а они у меня даже не бегут.

Никак почему-то! Впрочем, я сейчас знаю почему. К нему, к рождеству-то, ведь готовишься, бывало, за неделю вперед и так его ждешь, что всю эту неделю не ешь и не спишь по ночам. А тем более я: в первый раз собирался славить!

И никак они, ноги мои, не бегут. Ой, какой ужас! Они, чувствую, отнимаются у меня. Прямо они... как не мои стали. Как уже вот я, гляжу, ползу. Ползком! И мне бы надо ползти к дому, хотя бы по направлению своего дома, а я пополз в обратную сторону. Потому что мне кажется, что я где-то там потерял ее, чужую варежку...

Нашел меня Мишка Фетюшин. Он шел за водой на колодец и на меня наткнулся.

– Ой, кто это? Это кто тут в сугробе, а? Когда он принес меня домой, у меня на лице, глядят, сосульки. Толстые, как на крышах в марте. Стали кричать они меня:

– Мить, ты живой? Ответа не последовало.

– Все, – сказал Мишка, – замерз человек!

– Погоди так говорить, – сказала ему мама. – Так не надо говорить... Давай вольем в него самогону стакан и посмотрим.

И вот уже Мишка говорит ей:

– Стакан-то, Машка, много ему будет. Я половину отопью.

И, влив в меня остатки, они стали на меня валить одежду. Ее было у нас не так много в доме, и они навалили на меня еще рогож побольше. И прошло сколько-то время, может пять минут, может полчаса, как вдруг запело, говорят, под рогожами:

– Рождество твое, Христе боже наш, во сиянии мир свет разума: в нем бо звездам служащим и звездою чахуся и тебе кланится солнце Правды и...

Ну и так далее.

Первая любовь

Все это я знаю со слов мамы. А именно: что?

Мне четыре года и уже мне четыре месяца. И мне мама уже «дает работу» по моему желанию, но ответственную, даже можно сказать – «самую ответственную»: сторожить дом.

Теперь у меня много обязанностей: я обязан утром ранее всех подняться. И пересчитать углы. Так соседи мне говорили: «Ты, мил человек, сперва углы пересчитай. А затем, – говорили, – цыплят пересчитай!» И вот я теперь понял, что эта моя должность сторожа, знаете, она трудная. Я начну считать углы – три и пять, их даже и семь бывает. Потому что я волновался, так что даже со счета сбивался. А цыплят еще даже считать трудней! Их клушка и то не считает. А мама даже мне так говорит: «Цыплят, сынок, по осени считают!»

Но самая беда моя – коршун. Он то и дело цыплят таскает. На Большой улице слышно: «Шу! Шу! Шу!» И от крика этого, всенародного, начинает стучать сердце, как, верно, оно застучало у мамы, однажды, когда началась война.

Великая.

Отечественная.

Тогда, – говорила мама, – в селе завопили бабы: «Война! Началась война!» И на Большой улице, сынок, мужиков практически не осталось.

А я, – спрашивал я, уже будучи тогда парнем, – не мужик?

По-моему, я мужик?

Мужик. Но тогда тебе было полтора месяца. Ты еще не работал!

А когда я стал работать?

Война уже прошла. Уже когда было тебе четыре года! Ты говорил мне слезно: «Я – мужик! Мужик я иль не мужик?» Я, видя у человека на лице такое горе, отвечала: «Мужик! Ты – настоящий мужик! Я тебя поставлю на работу, на самую ответственную работу!» «Кем?» «Сторожем. Сторожить дом – это самая ответственная работа!» Ты вот как сторожил дом: «Пойма, пойма! Ты не видала, куда коршун унес цыпленка?» – «Видала!» – «Куда? Скажи!» – «Не скажу. Полюби меня, мужик. Тогда – скажу!» Это она тебе во сне так говорила. Ты, когда коршун утащит цыпленка, спрашивал всех. Даже ромашку спрашивал: «Ромашечка, ты не видала, куда коршун полетел?» Даже у коноплей спрашивал: «Конопля, здесь пролетал коршун?» – «Пролетал». – «У него в ногах чего было?» – «Цыпленок». Ты, сынок, во сне разговаривал даже с ангелом-хранителем. Он всем букашкам имена раздавал, а ты – прозвища.

Но я заменю рассказчицу. Мама великолепный рассказчик, но я могу рассказать тоже не хуже ее.

– Река-реченька! Ты не видала, куда коршун унес нашего цыпленка?

– Видала!

– Скажи!

– Не скажу! Испуайся во мне, тогда скажу!

Но я боялся в реке Суре нашей купаться. Потому что, – так мне бабы все говорили, – «в ней знаешь, сынок, какие сомы? Огромные, как киты. Они корову могут проглотить. И тебя, такого маленького мужичка, слопают!» И бабы вдрут захохочут, говоря: «Такого сладенького!»

Но вот однажды, рано утром, – я всегда вставал рано, – выбежал я на проулок. Я не узнал его! Трава за ночь точно выросла! И сколько в траве букашек! Я смотрел на них, и мне казалось, что я уже их где-то видел на другой планете! И клушка – как будто не наша, она – как барыня, вся в расфуфыренном платье. Побежал я за околицу, – и тоже не узнаю ее. А мой ангел-хранитель мне говорит уже теперь не так, как он говорил ребенку. Нет, теперь он говорит вдохновенно, точно стихами:

«Ровной синевой залито все небо; одно лишь облачко на нем – не то плывет, не то тает. Безветрие, теплынь... воздух – молоко парное!»

Согласитесь, это похоже на стихотворение в прозе?

«Жаворонки звенят; воркуют зобастые голуби; молча реют ласточки; лошади фыркают и жуют; собаки не лают и стоят, смирно повиливая хвостами».

Я потом, когда вырос, уже я учился в седьмом классе, нашел эти вот стихи у Ивана Сергеевича Тургенева: «И дымком-то пахнет, и травой – и дегтем маленько – и маленько кожей. Конопляники уже вошли в силу и пускают свой тя-

желый, но приятный воздух».

«Последний день июня месяца; на тысячу верст кругом Россия – родной край».

Россия... Это слово, конечно, мне произнес сам ангел. И оно стало для меня на всю жизнь родным.

Россия – это моя первая и единственная любовь!

Я ее целовал, – все лепестки ее, лепесточки белые. Они —

Нежные!

Пахучие!

Все пахло в пойме медом!

Я туда не бежал, я – летел. Туда, туда – где Она, да, да, вот это и есть самая моя первая любовь. Река. Сура наша Сурушка. И было мне хорошо. Я в первый-то день зашел в воду только по щиколотки. И увидел я свет, что он хорош. Как будто я отделил свет от тьмы!

А во второй день уже я зашел в реку по колени. И снова было мне хорошо.

Ой, хорошо! – я визжал радостно.

А на третий день я зашел уже по грудь. И снова было мне хорошо. И сказал брат мой Волька:

– Ты смотри! Сомы там, знаешь какие? Они человека враз слопают!

– Не-е, – засмеялся я, уже теперь понимая, что брат шутит. – Ка... ка...

– Чего какаешь?

– Ка-ак хорошо!

А на четвертый день я стал плавать. Брат, конечно, поддерживал рукой моё пузо, еще не приспособленное для морской жизни. Мне брат говорит:

Плыви!.. Ну!..

Вдруг кежк меня он толконет на быстрину. Я ору – мама! – тону. Но не потому я кричу, что очень я напуган. Нет, я так теперь кричу потому, что вижу иную планету. Берега какие зеленые! И солнце, какое прекрасное солнце над головой! И жить, товарищи, как здорово на такой планете!

Если хотите, я опишу вам это чувство святое еще и так. Там она, любимая наша река Сура, имеет две ноги и голову. Голова-то это, то есть, остров; а две ноги – это два самостоятельных русла. Течение быстрое, перекатное, но неглубокое. Здесь можно перейти нашу реченьку в брод. А растительность какая густая «на голове», – тут всегда, каждый год много ежевики и сплавного леса. Мы на реке жили и с ягодой и с дровами. Сплав-то, после затяжных летних дождей, когда идет по большой воде, и вода здесь когда сядет в русло, лес «на голове» остается.

Ночевать, братцы, одно удовольствие!

И не было года одного такого, чтобы наша мама не ворчала. «Присушила вас она! Приколдовала! Это же надо быть такому: все дни, с утра они и до вечера. И еще всю ночь на Суре! Ей вы готовы все отдать! Что это такое... а?»

– Это, мама, любовь, – отвечал ей брат мой Воля. – Наша Первая и Единственная!

Переплыл

Странно: когда начинает цвести черёмуха, та сторона Суры вся белая, точно в облаках стоит, а наша сторона едва-едва зацветает. И поспевают там всё раньше. И если у нас, например, клубника меленькая, то там она, не дам соврать, вот такая с кулак! У нас она кислая какая-то, а там до того она сладкая, что даже мёдом отдаёт. У нас в пойме и ежевики мало и смородины почти нет. А дикий лук горький-горький. И лягушками он пахнет.

Я серьёзно это всё говорю. Мне Волька оттуда привезёт, я попробую для сравнения, но разве можно сравнивать! Никакого сравнения и близко даже не может быть! Жалко, мало привёз! Он в зубах мне привозил. Потому что с одной рукой плоховато он тогда ещё плавал. А я штаны ему караулил за это. Ему, Додону и Лясе. Они у меня спрашивали:

– Чего, Митек, хочешь оттуда?

– Ничего, – отвечал я им, – возьмите меня туда с собой.

Но они меня не брали, потому что недавно Петя Толстый утонул. С бревна. Хотя, кажется, с бревна утонуть трудно. Чтобы с бревна утонуть, надо быть самому бревном. У нас все, кроме Пети Толстого, на них катались. Когда сплав на Суре идёт, мы только этим и занимались.

Вспоминаю.

Вот бревно сейчас плывёт, его, заплыв, останавливаешь.

Оно сперва крутится. Или, как мы говорили, брыкается. Иное попадаетея норовистое, прямо как лошадь с характером. Поэтому, конечно, надо обладать сноровкой, чтобы на него забраться. Но как на него заберёшься и на нём поплывёшь по Суре – вот любо! Вот хорошо! Даже спеть хочется. И мы, пацаны, таким вот способом на них катались. А Петьку мы однажды посадили верхом и пустили по течению, мы думали, что он не упадёт, не соскользнёт с бревна, благо бревно мы выбрали по нему, толстое-толстое. Но он и на таком не удержался. Просто поразительно, как это получилось так? Сплав шёл сильный. А когда сплав идёт сильный, то упасть с бревна практически невозможно; даже если оно вдруг и крутанётся, то в этом ничего нету страшного. Всегда можно перебраться на другое. Оно вот, рядом плывёт. Петя не сумел сделать даже такого пустяка...

После того как Петя утонул, нам, пацанам его возраста, родители запретили кататься на брёвнах. И такое продолжалось долго, едва ли не всё лето брат следил за мной, не давал мне возможности прокатиться по Суре. Даже мать про всё уже забыла, а он меня всё ещё опекал. Правда, она ему порку сделала знатную, когда ей наябедничали, что я на брёвнах опять катался.

Короче сказать, они, ребята наши, перебрались на ту сторону. А меня Волька избил, исключительно, как я думаю, для того только, чтобы дома, если я утону, было чем оправдаться перед матерью: я его, дескать, и так и эдак лупил,

но он, мам, всё равно...

Ребята перебрались на ту сторону рыбу ловить, а я стою на этой, на опротивевшей мне стороне и не знаю, что делать. Они уже перебрались туда, а я сел спиной к ним и притворился, что плачу. Вдруг:

– Ты, – слышу, – Митек, слышь, Митек, не плачь. Мы тебя сейчас перевезём.

Но я всё равно к ним не обернулся. До тех самых пор, пока не услышал, что они близко уже. Надо ли говорить вам о том, что испытываешь в такую минуту? И что испытываешь, когда тебя перевозят на ту сторону? Первозят! Думаю, каждый знает, что это значит! Сперва тебе позволяют плыть самому до середины реки, а там, когда станешь уже уставать, тебя подхватывают под мышки и, как гусёнка, несут до берега. Однако получилось на этот раз так. Они не дали мне даже обвыкнуться как следует на новом берегу, как уже, слышу я, собираются перебираться все на нашу, на свою сторону, потому что там появился Ляся, который, глядим, залез в воду и стал кричать, что рыба ловится исключительно! Я стал убеждать всех, что он врёт, но мне, слышу, говорят:

– Ну и оставайся здесь...

Я не понял, не успел понять даже, в чём дело. Вижу только, как все уже поплыли. Даже Волька с Витькой, которые меня перевезли.

– Во-оль-ка-а! Вить-ка-а!

А они плывут себе да фыркают. Переплыли! Что я чув-

ствовал в это время, каждый может себе представить сам. И кричат:

– Эге-ге-ей! Привет моряку с крейсера «Вьясс».

Берег, на котором я остался, вьясский. По названию села – Вьясс – они крейсер и выдумали.

И как же, кто бы знал только, слышать было такое обидно! Так было обидно, что я не поднялся даже с места, хотя рядом всего полно: и клубники, и смородины, и чего только нет на вьясской стороне! – но несмотря на это, я не поднимаюсь с места, сижу и сижу, как слышу:

– Давайте картошку есть, она испеклась давно. Эх, вот какая рассыпчата! Ц-ц-а! – говорят они там.

Я не знаю, как передать вам это состояние...

– Я маме скажу, – сказал я шёпотом.

И слышу:

– Это конечно. Но ты сначала переплыви. Эх, какая картошка, а!

Вот, друзья, с тех пор прошло лет тридцать уже с гаком, но я всё ещё помню, как стал мне вьясский берег не мил. Ну прямо сиротинушка я горькая. Один, без Вольки, без Витки, без Ляси, и такая тоска на сердце, что, если бы они чуть подальше были ещё и не так их было мне слышно, помер бы я на чужом берегу! А плыть боюсь. На своём берегу я чуть не до половины реки заплыву, не боюсь. А тут залезть – и то почему-то не хватает смелости.

А они крикают, едят картошку и ведут себя так, точно бы

меня не существует уже. Если вспомнят про меня, то как будто я чужой им...

– Оставить ему или не надо?

– Кому! Он не переплывёт всё равно.

И я – эх, была не была! – решился. Тонуть, так уж, думаю, всё один конец. И стал заходить я в воду. Но что странно: мне было страшно только в самом начале, когда плыть легко-легко: ведь я на чужом берегу наотдыхался; а потом, чем дальше я удалялся от берега, тем мне было уверенней. Причём, когда я плыл, едва ли помнил про известный наказ: если ты маленький, не переплывал ни разу реку и боишься, то не оборачивайся назад, а плыви и плыви и гляди вперёд всё время. Тем не менее, как рассказывают Волька с Витькой, я плыл и не обернулся, не посмотрел на удаляющийся берег ни разу. Плыл и плыл, даже когда они, Волька с Витькой, кричали, орали мне в две глотки, что-де вставай, вставай, уже мелко, я плыл и плыл. Когда же, наконец, решился встать, то – батюшки! – уже мне по щиколотки. А Волька с Витькой прыгали на берегу, ликовали: «Переплыл! Переплыл!» И мне сказывают: «Голова ты два уха! Чудак ты, чудило! Знаешь ли ты про то, что ты её, Суру, всю переплыл?»

А я гляжу на родной наш берег и не узнаю его: наш это или всё ещё чужой? Только когда набегался, – ой как я по родному берегу носился, говорят! – когда поел картошки, родной нашей, понял наконец, что я дома.

Река

Бегу я на реку.

Так прытко я бегу, что даже дорогу не чую босыми ногами. Ух! Вот я встаю. И – это что такое? – пойма пошла вертеться, как пластинка! Как есть вся пойма – с арбузами, с дынями, с лисами, с зайцами. А я...

Я бегу дальше. Вот уже конопли пошли. Тёплые-тёплые. Их так прогрело солнце, что в них воздуха даже нет. И когда из них выпрыгиваешь, то – смотришь – река Сура. Такая вся милая глазу!

– Ого-го-о! – слышу я, уже голос мой гогочет там на воде.

– Ай-ай-ай, – на песок не ступить – до чего горячий. И какой, смотришь, белый он. Точно сахар! И весь какой ровный. Ровный-ровный. Проползи сороконожка по Пристани – это так место называется, где мы купались, – все сорок ног её, смотришь, на песке.

...Господи, как же люблю я её, Суру. Мне довольно услышать «Пристань». Или увидеть это слово в книге. Как весь уже там я сердцем – на Суре! На Сурушке моей милой!

– Чего гогочешь? Рыбу ты нам пугаешь!

Так говорят ребята, когда я подбегу к воде и, ступая в неё, спрашиваю:

– Вить, ты сколько поймал?

– Два ерша. Пескаря. И окунька.

– А ты, Воль, сколько сейчас вытащил?

– Я не считаю... Иди за дровами сперва.

Уже посылают они меня за дровами. Но я не спорю, иду за дровами охотно, потому что в кустах поспела уже ежевика. Я так ее люблю, что даже не боюсь медянок. Тёмные сырые места ими буквально кишат. И крапивы я не боюсь, а она тоже ведь кусается как! Даже волдыри по всему телу идут. И я, если выгляну из кустов и не увижу Демьяна, караульщика на бахчах, то не прочь ещё и за арбузом сползать. Попластунски.

– Я вот чего вам принёс! – кричу я ребятам. – И вот чего!

– Ступай ещё! Ты Демьяна там не видал?

– Нет... Только, Воль, ты дашь мне за это складник?

– Бери. Он в левой поле.

Но и половить рыбу я не против. Как ребята – капланами, капланчиками. Мы называли так небольшие рыболовные сеточки, которые вязали сами. Из ниток десятый номер. Нынче ловля капланами запрещена. Тогда же мы ловили всем, чем только можно. В Суре её, рыбы, было просто ужас как много. После войны, когда всем жилось голодно, рыба ой как нас выручала.

И вот, бывало, стоишь с капланом, глядишь на перекат, где вода рябая и блестит, как у пескаря пузо. Но вообще-то на Пристани, надо сказать, у нас течение тихое. Вода как зеркало. Даже комара, представьте, видно. И мой брат Волька мне кричит:

– Чё поймал?

– С... сом!

– Выше! Выше! Иди скорее на берег!

– Ох, если упустишь!

– Он...

– Чего?

– ...не лезет в бидон...

И тут скорее из воды вылазишь на берег. И за то, что я не упустил, брат мне все даёт. Чего я только не спрошу. Даже когда скажу ему: засыпь меня горячим песком всего, – он засыпает. А я в горячем песке согреваюсь быстро. С минутку только одну полежу, зуб на зуб не попадая. Потом они, Волька с Витькой, бросают меня в воду, когда я согреюсь так уж в песке, что впору печь яйца у меня на пузе!

Вот они раскачали и бросили меня в воду. Бултых!

– Ой хорошо! Ещё меня!

И вот так вроде оно неинтересно глядеть со стороны, как мы проводим время на Суре. Но это ведь как сказать. Бывало, не заметишь даже, как время пролетит до вечера. А вечером, когда солнце начинало садиться, мы пескаря ловили для наживки. Но заходим теперь мы неглубоко, потому что пескарь для наживки нужен небольшой: чем меньше он, тем лучше. А если живца облюбует щука, то она все равно на перетягу не попадётся. Она перекусывает поводок. Хищница! Сейчас один крючок не жалко, но тогда каждый крючок был у нас на учёте. А поэтому мы живца зацепляем

за спинку, и только чуть-чуть, чтобы жука поводок не перекусила, но жука майского и личинку зацепляем, конечно, полностью, как, скажем, червя дождевого. Нам их, жуков, не жалко. А живца, когда он плавает, жалко немножко. Он, как в аквариуме, плавает в кошеле!

Вот перетяги мы поставили. И мой брат, поскольку он нырял с головой, плывёт на берег; а я к нему. Так же нырнуть там и потом, как он, уже пойти сушиться.

А на берегу, смотришь, весь состав налицо – ребята сидят у костра. Пламя видно теперь издалека. Так что если пойдёшь в кусты за дровами, то не заплутаешься. Но нередко бежишь на месяц долго, потому что он, когда всходит, в кустах кажется человеку костром. И как тепло в это время бежать по песку! Ведь он прогрет до самого утра... У костра бросаешь ты хворост на землю и садишься. Сура. Как тихо на ней! Когда ж мальчишки загалдят, вдруг плесканёт рыба! А если в это время с Прорвы возвращается Мишуня, Капитан у него спросит, чего поймал он – улов везёт какой? – Колька Капитан, которого Мишуня «произвёл» в капитаны. Мы спали однажды, а он причалился бесшумно, сошёл к нам на берег и нарисовал ему усы, как у капитанов.

Но вот картошка уже поспевает. Я, поскольку её люблю с сырцой, тереблю свой край в костре. А про себя думаю: «Зачем обещал я маме прийти ночевать?» И мне кажется, что так же думает мой брат, иначе б он не стал закапывать часть картошки в песок. Она, картошка в песке, будет готова

только в полночь.

Он думает, что я уже буду спать. А я не буду, специально вот не лягу, потому что я хочу дождаться света, и, когда все будут спать, встану и пойду проверять перетяги. Однако сон морит меня скоро. И когда Волька толкает меня в бок, чтобы я вставал есть картошку, я ему отвечаю: «Она сырая... я такую не люблю мотыжить». И я уже чувствую, как в бок, через дыру фуфайки припекает холодом. Просыпаюсь. И вижу такую картину: костёр давно уже потух; по Суре туман ходит клубами; в кустах чирикают птички; песок уже холодный и убран росой; в небе пусто и мутно; у костра храп стоит могучий... Самое время идти проверять перетягу! Но не хочется. Просто сил никаких нет, спать, спать, спать мне хочется.

Я просыпаюсь, когда ребята проверяют уже перетяги. И Волька, держа кошель на плече, толкнёт меня: «Пошли домой, соня». Но, войдя в село, он отдаёт мне кошель свой, с тем чтобы я передал рыбу маме варить и жарить, и сам пойдёт копать жуков, личинок искать в навозе. А я, забежав домой и передав маме рыбу, пойду скорее на крыльцо, потому что она хоть и рада, довольна уловом, но всё-таки ворчит, потому что я обманул её, обещал ей вчера прийти к обеду, а сам вот только когда явился: утром. И на крыльце мне видится всё не так, как вчера, а как-то всё иначе, хотя вроде всё то же самое, что и вчера было: так же говорит радио – идёт первая гимнастика! – и кот на брёвнах так же умывается: помусолит он лапу, посмотрит налево-направо и, облиз-

нувшись, снова продолжает умываться; ласточки вон сидят на проводах и щебечут; и телёнок кричит вон: «Му-у!...» – голосом своим истошным; и петух ходит вон по росе и вздрагивает – «кок» – от всякого пустяка; и вон сидит Витек под ветлой, притаившись, потому что на лужайке, посреди улицы, лежит ловушка, её стрижи хватают на лету, чтобы унести в гнездо к себе, и... вон попался уж один; и, подбежав как пуля, птицелов падает: есть! поймал – но я отворачиваюсь от этой сцены, потому что я не карапуз, как он, а уже с Суры пришёл, с ночи! И в это утро свершится такое ещё: мать, напевшись – цып-па, цып-па-а! – зайдёт в избу и, выкладывая яйца из фартука, скажет: «Вы если пойдёте на Суру, то...» – я задохнусь от счастья! Потому что всё! Мы – Волька и я – наравне помощники! А не как вчера было, когда она не пускала меня на реку, так что мне пришлось ещё её упрашивать, обещать ей, что я до обеда только и приду, прибегу же я, мам, обратно; а сегодня – она уже говорит:

– Если вы пойдёте с ночевой, то я не пущу! Ну хорошо, хорошо. Но только до вечера! Придёте вечером? Не обманете вы меня?

Не обманем, мама.

Петухи

1

Вот вспоминаю. Дрались у нас петухи на проулке. Дрались так, что даже я плакал. Все, все петуха нашего били. И я – плакал. Но не потому я плакал, что было его жалко. Нет, я плакал потому, что его били – все, особенно – Фетюшин петух.

Он был как генерал. Ноги толстые, в перьях. Гребешок у него широкий, красный. Он и сам был красный – весь, сиял как радуга после дождя. Сталин. Это у него кличка была такая. А наш петух был тощей, ноги сухие, длинные. Гребешок у него узенький, всегда побитый, бывало, глядя на такого петуха, выразиться даже хочется – Гитлер. И мы так его и прозвали.

– Он, мам, даже Рузвельта боится!

– И Рузвельта боится?

– Ой, мама! Он его как увидит – вот так голову пригнет! –

И с проулка бегом на двор удирает.

– Ну это уж никуда не годиться! Если на своем проулке петух не хозяин, его надо заколоть.

Мы его хотели заколоть. Но мама сказала:

– Погодите! Несите его в избу.

Мы его принесли в избу. А мама достала, как сейчас помню, темную бутылку из залавка. В ней был самогон. И она

налила его в ложку, говоря нам:

– Открывайте ему рот пошире.

Брат Волька держал его. А я ему рот открыл, – клюв точнее, – и мама влила туда ложку самогона, говоря нам:

– Вот теперь несите и бросьте его на дворе.

Мы отнесли на двор – и бросили его на землю. А как раз по двору расхаживал Сталин, Фетюшин петух. Наш к нему подскочил и, недолго думая, запрыгнул на него. И по башке, по башке ему!

Мы с братом прыгали от радости. Мы кричали:

– До мозга! Продолби ему голову до мозга!

И наш – молодец какой! – продолбил ему голову до мозга. Сталин – глядим – перевернулся на спину. И ноги свои он толстые, в перьях, поднял над головою своей.

– Ой, какой молодец! – сказала мама. – А хотели мы его зарубить.

Эх, – сосед подал голос со своего двора, – обрадовалась! Ты зачем напоила его, своего замухрышку?

– Я – а? Нет, я его не поила!

– Не поила. А почему ж он такой?

– Какой?

– Он стал, негодяй, как Гитлер!

– А он такой у нас, – говорит мама, чуть не плача от смеха.

А сосед ей говорит, тоже чуть не плача – от досады, что его такого «генерала» побил наш «ефрейтор».

Да он, впрочем, стал у нас хороший, даже и внешне стал

он хороший – такой петух почему – то вызывает к себе уважение, так что даже ему хочется насыпать и зерна, и пшена, и горошку с орехами!

– Дядь, дай нам пшеница, – попросил Волька.

– Ну да, – отвечал он слезно. – Я стану кормить его, такого негодяя! – А пшено у него было, потому что он телеги делал дома, на дворе. Ему платили зерном за это, а нам всем, остальным колхозникам, ничего не платили; все тогда в колхозе работали мы бесплатно – за «палочки». Впрочем, и нельзя сказать чтобы уж совсем бесплатно: я всегда носил штаны и рубашку из мешковины, конечно, мама ее выкрасит, но не потому чтобы стал я красивее, нет, это потому, знаете, чтобы скрыть: мешки – то колхозные! И мы таскали: к примеру, когда наши матеря в пойме конопли молотят, мы таскали домой семя, а с бахчей – огурцы, помидоры, арбузы, дыни. Этого да того немножко, оно и выходило, что не совсем мы бесплатно. Мы, как бы сказать, натурой получали – а деньгами: нет, нам долго не платили, если мне не изменяет память, уже только при Хрущеве стали, наконец, платить колхозникам деньгами.

И как, спрашивается, заповедь «не кради» соблюдать было тогда нам, колхозникам?!

Ничего. Мы нашли: и зерна, и пшеница, и горошку. Всего мы нашли. Мы его так стали кормить, нашего «замухрышку», что он выправился. И уж теперь он с родного проулка не убегает от Блясова петуха. Нет, он его догонит и начинает

внушение делать – показывает территорию, за шею его схватит и водит его по проулку, как бы говоря:

– Ты вот тут, сосед, не ходи! Это моя территория! Понял?

Ладно, – отвечал тот ему покорно. – Это территория не моя. Отныне она твоя, сосед!

А дядя Митя Блясов, увидавши такое, тоже как сошел с ума. Он – за сердце схватился, говоря:

– Господи! Что творится? Нашего петуха побили. И кто? Замухрышка! Нет, так не может быть. Видеть такое – это выше моих сил! – Но нам с братом, конечно, наблюдать такое – на родном проулке! – приятно, до того приятно, что и мне тоже хочется себя показать. И я показываю: так Нужду отде-ру (шабра, то есть), что нас хоть фотографируй! Драка такая, что мы весь проулок залили кровью.

И дядя Митя, конечно, тоже своего петуха напоил. Не самогоном: он даже купил бутылку водки, говорит, специально для этого.

Тете Нюре он так говорил.

– Он его, своего Рузвельта, – белый у них петух, терял перья он из хвоста, я находил их по всему проулку, белые перья, и говорил маме, что Рузвельт ходит по нашему проулку, мам, как хозяин.

– Ну и что же! Тебе бы уж, и по проулку чтобы не ходил? Так, сынок, жить нельзя. Надо с людьми жить дружно, в мире.

– Давай еще раз...

– Чего?

– ...напоим?

– Иль он бьет нашего?

– Нет пока, но – может!

– Вот когда, – говорит, – побьет... Тогда мы посмотрим!

А дядя Митя кормил своего, – я же все знаю, – отборным зерном, пшеном да с орехами. Разгрызет лесной орех и сам – то он не съест ядрышко, а – выплюнувши на ладонь – помянит своего он петуха, говоря:

– На, милый, на! Набирайся сил, Рузвельт! – Так он любил своего петуха.

И вот, однажды я забежал к ним в избу. И с восторгом рассказываю:

– Дядя Митя, дерутся?!

– Но-о?

– Мить, – тетя Нюра ему говорит, – сходи за водой.

– Да погоди ты со своей водой, – отвечал он, надевая фуражку военную. А может пилотку, – у него и пилотка была, ее носили Шуня (Шурка) и Витя – сыновья, одного возраста с нами: Шуня – Волькин ровесник, и Витя – мой. – Там петухи дерутся! – объясняет дядя Митя жене, тете Нюре, потому, де, мне некогда. Пошли за водой Шуню.

– Он на Суре.

– А чего он там делает?

– Рыбу ловит капланом. Он – кормилец. А ты...

Но нам было некогда ее выслушивать, бабьи жалобы, – мы

побежали на проулок. А там – там уже шла война, турецкое сражение, или – если хотите – Сталинградская битва. На траве уже, там и здесь – кровь. И наша мама говорит с обидой:

– Мить, это нечестно! Зачем ты его напоил?

– А ты напоила, – ей возразил дядя Фетюшин, – это честно? Так ему, негодяю! Так ему!

Рузвельт побеждать стал нашего. И вот, казалось бы, надо их разнять? Кровь же льется – трава уже стала красная. Но нет: это так не может быть, чтобы наш уступил Блясову. Не-эт.

– Петя, – говорю я нашему петуху, слезу смахивая с носа, – д-дай ему! Д-дай!

Рузвельт, будучи пьян, так отвалтузил нашего, что я, уткнувшись маме в колени, заревел:

– Ой, не могу! Умру, мамочка, если он не отомстит!

Мы его с братом, – когда он пришел с реки и принес пескарей – много, бидон трехлитровый наловил, бывало, обязательно наловит до верху, а мама их жарила на коровьем масле и со сметаной и непременно с яйцами, до того вкусно, что мы таких пескарей уплетали за обе щеки, – мы нашего петуха, «замухрышку», поймали и сделали ему внушение, говоря:

– Что ты нас позоришь? Тебя даже бьет Додонов – Черчиль!

Да его даже Додонов петух стал побеждать. Ой даже Черчиль! Уже его мы опять собрались заколоть. Потому что он,

Додонов петух, залетит на сарай – и орет на всю Большую улицу:

– Эх, я и отодрал его, Митькиного петуха! Всю голову продолбил ему!

– Ладно, – сказала мама, несите в избу. Еще разочек напойм. И, если он уступит ему – Черчилю: все, голова твоя, петя, пойдет под топор!

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.